

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ



## ЗНАК

РАССКАЗ

Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальчика, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу...

Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Крутые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имеет форму улья. Я, не спуская глаз, смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.

Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колочими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала “заводиться” — ворчать так, чтобы слышал Кузьма.

— И чего ходит? — ныла бабка. — От делов отводит... Вот и ходит, и ходит...

---

*КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского областного политехникума работал мастером на заводе в г. Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Печатался в журналах “Новый мир”, “Октябрь”, “Юность”, “Молодая гвардия” и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии “Традиция”. Член Союза писателей России. Живёт в г. Электросталь Московской области*

— Мать, а мать, — по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку — он называл ее “мать”, — дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь...

— Вот как сойдутся пара — лапоть да сапог, не разлей вода... И все “дай” им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина...

Бабка лукавила. “Болтовня и курятина” бывала не часто, только на праздники: престольные или советские, — и тогда “бабка”, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.

— Мужики, — растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка, — мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка и в уборную захотели?

И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:

— А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили...

Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы, даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, — открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.

— ...Слыхал, что наговорили тут эти вояки? — спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. — Слыхал? — спрашивал дед после очередного сборища. — Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языки они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племянш. Да эти-то все на фронт попали когда?

— Когда? — переспрашивал Кузьма без интереса.

— Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали — худо им было, необстрелянным-то.

...Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков инвалидов: один — с культей, другой — без ноги, не любивший искусственных “непослушных” протезов, а носивший самодельный, как в дуло втыкавший туда культю левой ноги, — живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете “Неделя” за май этого года статью. Как по сердцу ударила: “Порядок клеймения таков”. В 1942 году, 20 июля вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин — Шенеберг: “Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь...”

Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо — и Кузьма, и дед, и двое инвалидов — все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, соленую желтую солонину с аппетитным мясом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.

Бабка приносила грузди ароматные, исчерна-розовые в рассоле, пухлые оладушки. От самогона отказывалась, ее неволили, силком усаживали на табуретку, она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой: “Ну яд, как есть яд...”

В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я прилачился

с уроками на краешек подоконника. А в горнице дым стоял коромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебывали друг друга, спорили, упрекали. В конце концов опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.

— Ха-ха-ха, — громко смеялся дед Кузьма, — верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали...

— Да ты слушай, Кузя... На фронт-то забирали кого в чем: старенькие сапоги, телогрейка, в шапках, годных только на галчинные гнезда. А в холщовых сумках за плечами: яички, сухарики, пыхпечки-фуишечки... Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных. Всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, наострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слез выплакали. Мой младшенький вцепился в меня: "Тягька, возьми меня с собой". В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семен-Таракан без ноги да я из плена. От Сонино часов пять шел. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.

Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тужусь над прописями, а сам напряженно вслушивался.

— А меня Бог миловал, — весело, смеясь говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он все же хитрый, умный, лучше всех из Выселок. — Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий...

— Ты сам себя миловал, ловчил, — оборвал его дед Терентий. — Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на веревочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.

Мужики все загудели недовольно.

— Я тогда золотарем был...

— Да знаю, что не комиссаром. Ты и сейчас-то все плутуешь, выгадываешь.

Мужики заговорили громко, все больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырех братьев деда моего погибло двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счет шел громкий, старики ошибались, поправляя самих себя, а мы с бабкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим — плач не плач, смех не смех... "Ну-ка глянь, чего он там, дед-то... Вот горемыка-то, — ворчала бабка незлобиво, — чего-то выкозюливает, глянь-ка".

Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.

Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в "оттепель", ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли беречь душу, Бог его знает. А тут по пьянке при долгой беседе да еще в такой день — не выдержала душа обиды, не теленок ведь, человек...

Сидели за плен не все. Деда только "таскали", как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.

— Ну, чего он там притих-то? — спросила бабка, когда я вернулся в кухню. — Чего, язык-то корова отжевала?

И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу, начала ругаться:

— Капли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положь, а вот нейметесь. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги...

— Молчи, дура, дура стоеросовая! — озлился дед. — Ты знак посмотри, не видала же...

Бабка уже плохо видела след далекой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила зачем-то меня за руку и увела в кухню. И, чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.

В горнице стало тихо, как будто там никого не было, хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:

— Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!

И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова “вся”, как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла открытую откуда-то из “зачачки” бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.

Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез у хромого с резиновой набивкой снизу...

Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак, открытый острый угол, верно, много раз подновляли, размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же — никогда и никому. И, если понять, этот его стыд был и в самом деле глубокой трагедией человеческой души. И вот я выписал из той же “Недели” статью полувековой послевоенной давности: “Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскаленной ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции”. Так приказал шеф Верховного командования.

Дед в послевоенные годы брал меня с собою в баню. Шли мы с ним медленно — высокий гнутый старик с полотенцем на плечах, такой немногословный и такой родимый, — так и остался он у меня в памяти.

О всех ранах, рубцах и ожогах я расспрашивал его, а про знак, сделавшийся каким-то грубым наростом величиной с грецкий орех и даже схожий с этим орехом, — об этом знаке так и не спросил, не осмелился. А надо бы. Надо спрашивать и рассказывать надо. И вспоминать об этом надо. И когда я волей судьбы был закинут в Берлин, ходил в наше трагическое время “реформ” вдоль рисованной и разбитой Берлинской стены, вдоль сияющих супермаркетов и гастрететов, в которых пьют тягучее пиво и одобряют “продвижение НАТО на Восток”, я вспоминаю бедный, заставленный пустой посудой стол в моей деревне, слезы деда и радостные возгласы Кузьмы Лукича:

— А меня Бог миловал! Бог миловал!..

## ПИСЬМО СТАЛИНУ

### РАССКАЗ

Колька спал под тяжелым лоскутным одеялом. Проснувшись, услышал сердитый шепот матери и густой сильный голос отца.

— Лошаденку-то ай не дают? — говорила мать, работая ухватами в печи. Сырые дрова потрескивали, пламя озаряло занавески и передний угол кухни с божницей и агитплакатом. — Ай в колхозе лошади перевелись?

— Куда там! — сипел отец, простуженно кашляя, увязывая портянки и обувая новые лапти. — Лошадь жалко. Измотаешь, говорит бригадир. Да и на кого ее оставить там, лошадь-то? Может, целый день пытать будут. Бог с ней, с лошадью... Пешь-то страшно итить... Дороги раскисли — ни пройти, ни проехать. Ох-хо-хо... Жисть бекова...

— Ты ведь молчун,— приставала мать, беспрестанно работая возле печи, временами вытирая лицо подолом фартука.— Ты не выпросишь, не на-smелишься. А у них надо не просить, а вырывать. Из горла вытаскивать... И к председателю ходил?

— Ходил,— отвечал отец, крепко затягивая оборы на бахилках. — Ходи не ходи, одна честь. Толку мало. Лошадь они жалеют, навоз возить на-думали.

— Верхом-то, без телеги-то, милое дело... Двадцать верст, путь неблизкий. За палочку, за трудодни работаем, а лошаденку жалко дать... Я сама пойду, я ему наговорю! С больной ногой, по колена в грязи, шутка ли та-щиться...

Мать грохнула ухват в угол, надела телогрейку почище и собралась идти к председателю. Отец с трудом удержал ее.

— Не ходи, не даст. Нас, бывших военнополненных, везде в спину ширяют. Смотрят, как на врагов народа. Теперь-то все в героях ходят, все: я да я... Санек вон Копченый всю войну в ездových околачивался, а поди поговори с им... Ку-уда там! Медаль имеет, трень-брень... Не связывайся, помалкивай знай, молчок, язык на крючок. Чуть что: “Ты в плену был!” Слова не скажи...

— Да ай ты виноват? Сам же говоришь, и большие начальники попадали в плен. Енерал какой-то...

— Карбышев...— сипел отец, опершись локтями о колени.— Там наше-го-то брата, ой, сколько полегло!

— То-то вот и оно. А тебя затаскали... — Мать не удержалась, всхлинула. — Замучили, сволочи! Да хоть бы по сухому вызывали. А то осенью, в самую что ни на есть мокреть, то весной, когда все развезло... Скажи там начальникам-то, не молчи перед имя. Ты ведь молчун, все боишься их. Я бы им сказала... Ты же не сам сдался, ранен был. Скажи им...

Колька, высвободив голову из-под одеяльца, плохо сообщал, о чем спорят родители. Всякий раз, когда отца “таскали” к уполномоченному, споры шли часами. Мать нехорошо говорила о Берии, материла Сталина. Как-то осердилась так, что проткнула ухватом портрет вождя. Колька даже хотел пожаловаться на нее в сельсовет, но удержался: он любил мать. Вот и на этот раз. Она как-то боком остановилась возле стола, взглядом окинула агитплакат, сказала злым шепотом:

— Када он, сука, сдохнет-то? Господи, прости мою душу грешную! Ишь ведь как устроился, выше всех стоит. Все у него под сапогами!

— Тише, потише, — сипел отец, испуганно озираясь на агитплакат. — Чево раздухарилась, чево разгорелась-то? Не меня одного таскают...

Обув лапти, отец встал с приступки печи. Скорехонько просунулся к окну. Выставился на улицу, поглядел по сторонам, захлопнул створки и поплотнее занавесил окна. Потом уставил взгляд на агитплакат, приклеенный Колькой в простенке под иконой. На плакате в полный рост стоял Сталин, а под сапогами серым цветом — тьма народу, и все как-то на одно лицо. Можно только различить мужчин от женщин. В самом же низу агитки большими красными буквами напечатано: “Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами!”

Отец с минуту стоял, скреб в голове. Писать он не умел, читал по слогам, как первоклашка. Колька поглядывал на отца, ему было смешно смотреть на его жалкий вид, на спущенную рубаху, штаны в заплатках, лапти... Штаны висели на нем, как на колях, как пустые.

В душе Колька презирал отца. Стыдно вспомнить, что отец был в плену. У всех отцы как отцы: пришли с фронта с медалями и орденами, в деревне по избам скопилось столько орденов, что Колькины ровесники играли ими в “пристеночки” и “расшибалку”.

Стояли дни Великого поста, мать Кольки не гасила лампадку. Слабый чадающий свет лампадки на трех ржавых цепях озарял икону Божьей матери с младенцем на руках, а заодно и вождя, величественно стоявшего в фуражке-сталинке. Неверный свет лампадки прядал на породистых усах; серая масса народа совсем не была видна, сливалась с тенью. Из-за крыши вставало кровавое солнце, пробиваясь сквозь занавески. В кухне стоял нестерпимый чад, пахло луком, кислой капустой и еще чем-то сложным, чем-то давно не мытым, шубно-овчинным, невкусным. Мать бегала в сарай кормить кур, месила поросенку. Подоив корову, налила горшок молока и поставила перед отцом на столе.

— Чево с собой-то возьмешь? Поесть-то?

Отец все еще сидел за столом, уставя тяжелый взгляд на агитплакат. И словно очнувшись от сна или дремы, махнул рукой, просипел:

— Не до еды там будет... Уполномоченный накормит... — И усмехнулся в жидкие седеющие усы.

Мать сняла с поставца хлеб с подмесом картошки, синий и грубый, с отвалившейся коркой, круто посолила серой солью. Положила в котомку пару яичек и картохи в мундире. Отец все как-то отрешенно смотрел на работу матери, вздыхая тяжело, и теребил жидкую бороду. На завтрак мать подала картошку, молоко и хлеб. Обжигаясь, отец ел картошку за картошкой, просил мать:

— Ты, мать (он ее почему-то называл матерью), ты, мать, много не болтай. Особливо при Кольке. Их ведь в школе по-другому учат, не так, как оно есть... А ты лаисси на вождя... Язык-то прищеми, больно длинен. Ивана Шплинта помнишь?

— Помню. Ну и что? — Тут мать с открытым ртом уставилась на отца.

— А ничево... Второй год ни слуху ни духу. Тоже мастак был трепать языком. Ну, тот-то хоть по пьяному делу болтал, а ты же не пьяная.

Иван, по прозвищу Шплинт, был маленький, верткий мужичок, с подпрыгивающей походкой, печных дел мастер. Как пришел с фронта — нарасхват, все к нему: боровок ли поправить, под в печи переложить ли, грубку ли сложить — к Шплинту. К этому дню берегли шматок сала, гнали самогон...

Шплинт был обидчив. Не ровен час не угодишь — ходи тогда по окрестным деревням, ищи печника. Иван, когда работал, капли не вышивал. Бабы любили его звать на работу, говорили мужьям: “Смотри, учись работать... А ты...” За работой Шплинт мало говорил, все посвистывал. Как только закончит работу — тут уж ему только подавай закуски, подливай в стакан да слушай. Говорил он все больше про политику, которую знал, по мнению деревенских жителей, до тонкости; пел частушки “с картинками”.

Дело было осенью, Шплинт переключивал у Дуниных грубку к зиме. Его, как полагаются, угостили, заплатили, все чин чинном. Молол он, молол про войну, частушку спел. Дунины рады-радешеньки: наконец ушел. Плотно заперли дверь на задвижку. Вышел Иван от Дуниных и подался в колхозный клуб. Там молодежь веселилась под гармонь, наяривали топотуху. Иван зашел в клуб, у двери снял с себя кургузо обрезанный пиджачок, кинул его в угол под лавку, затесался в круг — и давай сыпать под крепкий глухой топот:

*Тарина, тарина,  
Большой... нос у Сталина,  
Больше, чем у Рыкова  
И у Петра Великого!*

А Нюраху, его благоверная, сбегала к Дуниным — не нашла Ивана, у соседей — свет погас... Заглянула она ненароком в клуб, услышала голос Ивана, заорала дурным голосом:

— Ива-ан! Ты допляшешься, гад ползучий! Опять “тарина”? Тебя, дурака, устроят! Тебя устро-оют!

Схватив Ивана за руку, как мальчишку, потащила вон из клуба. Шплинт скалил зубы, обнимал Нюраху, лез целоваться.

Наутро перед окнами правления колхоза, там, где собирались на наряд, председатель-калека, налегая грудью на костыли, угрожающе прыгнул к Ивану, начал стыдить: “Ты, Иван, все эти свои “тарина” брось, забудь! По-хорошему говорю. Мне за тебя в Сибирь идти нет охоты. По-хорошему говорю: прекрати, пока не поздно! Упекут тебя за милую душу”.

Иван Шплинт, собирая морщинами лоб и шмурыгая носом, виновато смотрел на председателя запухшими синими глазами, смущенно переминался. Бубнил похмельным голосом:

— Да ладно, чево там... Сам знаю... Был выпимши...

— Там не будут спрашивать, выпивши ты или трезвый. Загремишь за милую душу. Что за натура, ей-Богу: выпьет сто грамм, а шума на четверть. Ну, сустроил, выпил — хвост морковкой и к бабе под теплый бочок. Ан нет, обязательно надо пошарашиться, покобениться. Словом, вот так, понял? Ну, иди работай.

Шплинт, как побитый, поплелся на скотный двор убирать навоз, в душе ругая себя за частушки и болтовню. Что могут впаять пятьдесят восьмую, Иван и сам знал, примеров тому было много. Сажали учителей, мужиков из соседних деревень и сел. Прошел он всю войну, что называется, “от звонка до звонка”, много видел и слышал. Смолоду любил попеть-поплясать, себя на людях показать. “Я из-под матери такой, веселый...” — говаривал.

Колька чутко слушал, о чем говорили родители. Он знал печника, помнил его дурацкие песни.

— Теперь и печку сложить некому... — говорила мать. — Чтой-то забыла, когда его забрали? Кажись, весной?

— Весной, — подтвердил отец. — Ходил на рыбалку, где-то хлебнул лишку, ну и пошел мимо сельсовета. А не знал, что туда из района приехали налоги выколачивать. Он, как был в болотных сапогах, ввалился сдуру. Ему махали, моргали: уйди, мол, скройся от греха, председатель аж костылем замахнулся. А Шплинт еще пуще разгорелся, подошел к столу, топнул ногою в грязном сапоге, руку выставил:

*Слава Сталину-грузину,  
Что обул нас всех в резину!*

— Мать, ты не смейся, — говорил отец умоляющим тоном, — это я тебе говорю к чему? Чтобы не болтала много. Ну, иначе, пора идти.

Отец встал, мелко перекрестился — то ли на икону, то ли на вождя.

— Ну, и дальше-то? — спросила мать, убирая со стола чугунок с картошкой. — Что ему припаяли-то?

— Кому?

— Ивану-то, Шплинту-то?

— А, Ивану-то? — одергивая куцый пиджак, переспросил отец. — Бумагу составили, председателя силком заставили подписать, тройка эта святая... Оформили все, как было, да еще лишку приписали. А ночью с постели подняли. Нюраха, помнишь, как орала? Надрывом. Десять лет и пять по рогам...

— Как по рогам? — не поняла мать.

— Поражение в правах, шут их разберет... Где котомка-то?

— Это все Сталин, отец наш родной, — напала мать на вождя, — все он этими делами управляет. Всеми душегубками правит. И Берия с им. Душегубы, сволочи...

— Ну-ну, Сталину есть когда этими Шплинтами заниматься, — надевая котомку на плечи, говорил отец. — Сталин, поди-ка, и делов этих не знает. Вожди этими делами не занимаются...

— Ирод он, мучитель...

Последние слова точно кипятком ошпарили Кольку. Он тоже думал о вожде, помнил слова учительницы. В школе репетировали хором:

*Сталин — наша слава боевая!  
Сталин — нашей юности полет!*

*С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идет!*

А к майским праздникам, как лучшему ученику по родной речи, учительница дала задание выучить наизусть стихотворение. Колька вытвердил:

*Стучит по крыше снеговая крупка,  
На Спасской башне полночь бьют часы,  
Знакомая, не гаснущая трубка,  
Чуть тронутые проседью усы...  
Он наш корабль к победам вел сквозь годы...*

Эта строчка прямо-таки просилась на язык. “Неграмотные, дураки неграмотные, — думал Колька о родителях. — Что с них взять? Учительница Вера Семеновна так не говорила про вождя... Ну и дураки: ни читать, ни писать не научились...” И тут у Кольки само собою пронеслось, как учили в школе: “Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин! Ой, как первый сокол со вторым прощался...”

Сжавшись комочком под одеялом с клопами, Колька заплакал, обида стеснила грудь. Мать услышала, вскрикнула от удивления:

— Коля, ты разве не спишь? Ты чево там?

Вскочив, Колька больно ударился о матицу и со слезами на глазах крикнул что было мочи:

— Дураки вы оба! Безграмотные дураки! Сталин — вождь всех времен и народов! Учительница лучше вас знает!

— Ну вот, что я тебе, дуре, говорил? — втягивая махорочный дым, повторил отец. — Язык у тебя — помело... Только что сказал: не мели при Кольке.

— Ну, не реви, Колюха, это мы так... промеж себя... А ты бы не слушал, раз такой письменный, грамотей...

Отец недовольно еще поворчал на мать, нашел тяжелую от грязи и до блеска засаленную на рукавах телогрейку, накинуд худощавый вещмешок на плечи. На голову натянул фуражку-сталинку и все еще стоял в нерешительности, теребя жидкую бородачку.

— Давай-ка присядем на дорожку, — опомнилась мать. — Колька, слезай, отца проводим...

Колька в слезах слез с полатей. Уселись на широкой кухонной лавке, в переднем углу, под иконой с агитплакатом. Сталин как будто смотрел на эту семью и улыбался злорадно — так казалось матери. Помолчали минуту-другую, встали со скамейки, отец обнял Кольку, сказал:

— Прощевай, грамотей ты мой, — и стиснул его худые плечи. — Ничего, учишь... Видишь сам, какие мы — чурки с глазами... Правда, что дураки. Расписаться не умеем, крестик ставим вместо росписи...

Когда отец ушел, Колька стал надевать штаны, сшитые матерью из крашеной мешковины, сарпиновую рубаху навывпуск. Мать налила Кольке постные щи, плеснула молока — мать говорила: “Забелила”. Солнце светило покойно и ясно, совсем уже по-летнему. В палисаднике на голых кустах сирени лопались почки, выглядывала зелень. Весело чирикали воробьи, камнем пролетая один за другим мимо окон. Купались куры в пыли на завалинке.

— Куда отец пошел? — спросил Колька, с чавканьем хлебая щи.

— В город, по делам, — отвечала мать, собираясь на работу.

— А по каким таким делам? — не отступал Колька.

— Вызвали... Да тебе, малый, эти дела и знать не надо. Ты арифметику читай. Даве учительница жаловалась, двоек, слышь, много! По арифметике. Учишь хорошо, мотри. Начальником станешь. Каким-нибудь агентом по налогам...

— Не буду я агентом по налогам, не хочу! — раздувая ноздри и сопя, отсекал Колька. — Я военным буду! В суворовское подамся...

Мать стояла на крыльце с кошелкой за плечами. Колька выскочил на улицу, сказал матери:



— Я Сталину письмо напишу, чтоб приказал принять меня в Суворовское училище!

— Не ори больно-то! Письмо он напишет! Школу сначала закончи. Иди уроки готовь, в школу не опоздай. Пись-мо-о...

В горнице стоял шаткий самодельный стол, залитый чернилами. И тетрадки, и учебники — все истрепанное, как лапша. Колька с размаху сел на табуретку, крепко задумался. Он начал вылавливать пером из чернильницы моль и весь перемазался. Уроки совсем не шли в голову, а тут еще Федька Краснов не принес арифметику. Над столом в деревянной рамке висела цветная картина: суворовец, чуть постарше Кольки, приехал к деду на каникулы. В левой руке — чемоданчик; правая ладонь прижата к виску, касаясь шапки со звездочкой. “Прибыл на каникулы!” Все на мальчишке было ново, ладно и красиво: и новые ботиночки с блеском, и штанишки с красными лампасами, и туго подпоясанная шинелька...

Дед наклонился и смотрит на внука, слушает, как ловко отбарабанивает тот цель своего прибытия. Колька поглядел на свои дерюжные штаны, рубаху реденькую, как марля, и чуть не заплакал от зависти. “А тут учебник арифметики на троих, — тяжело вздохнул он. — Где хоть искать этого дураля Федьку?”

Выглянув в окно, Колька прищурился от яркого солнца. Блестели ослепительным светом и морщились грязные лужи на улице, чирикали воробьи. Два петуха прямо перед окнами устроили драку. Запустив вею пятерню в нечесаную голову, Колька поскреб там, поковырял в носу. Лягнув ногой и устроился на стуле, поджав колено. Писать или не писать письмо вождю? И решил не медлить.

Выдрал из тетрадки листок почище, сменил перо “лягушку” на новое — “овсянку”. Сначала расписал перо на клочке бумаги. Опять подумал, надув щеки. Сердце глухо и часто заколотилось, лицо загорелось: шутка ли — написать письмо самому Сталину!

Переписывал три раза: то кляксу посадит на самом видном месте, то имя-отчество вождя выведет коряво. К полудню письмо было написано.

Пришлось искать конверт. Колька дернул языком по карману конверта — клей не держал ни капельки. Тогда он сбегал к умывальнику, наскарябал ногтями мыло, наконец-то конверт заклеился. Даже в пот бросило, фу-у... Колька шоркнул рукавом рубахи по мокрому лицу. Осталось написать адрес, плевое дело. Но чтобы именно вождю попало письмо, а не кому-нибудь, как написать? Высунув язык от усердия и слизывая набегавшие, как назло, сопли, яростно шмыгая носом, написал: “Москва, Кремль. Вождю всех времен и народов И. В. Сталину”. И, подумав, добавил: “Любимому и дорогому”. Потом подул на перо, опять пошмыгал носом и вывел в уголке, в самом низу конверта: “Лично в руки. Жду ответа, как соловей лета!”

Обратный адрес Колька нацарапал быстро. С облегчением вздохнув и поплевав на испачканные чернилами пальцы, кинулся искать сапоги. Кирзачи, обрезанные до самых головок, куда-то запропастились. Полез на печку. Пришлось найти подшитые, источенные молью, словно в них в упор выстрелили дробью, валенки, надел — и пулей к почтовому ящику. Обратный шел счастливый, уже не бежал. Зачем бежать? Все, дело сделано. Домой шел как во сне: получит вождь письмо, прочтает, посмеется, конечно... Потом возьмет трубку, позвонит московскому начальнику училища. Тот, наверное, заартачится: мол, зачем нам деревенские, у нас своих хватает. А вождь только прикажет — и баста...

Уроки, конечно, остались невыученными. Ни один. На всякий случай Колька сложил тетрадки в сумку из-под противогаса, с которой бегал учиться, полез на поставец, отломил краюху хлеба, посолил влажной солью и положил вместе с тетрадами. Часы-ходики с промятым, словно изжеванным циферблатом всегда ходили неверно: то забегали вперед, то безжалостно отставали. По солнцу — пора бы в школу. Но тут как из-под земли появился Степан Фролов. Стоял перед окнами на завалинке — высокий, фитиль. Лицо осунувшееся, желто-зеленое от картошки без молока. С распухшим животом. Щеки забрызганы чернилами, на лаптях грязные онучи... Книж-

ки, тетрадки перевязаны второпях обрывком веревки. С уроков он сбежал. — Пойдем патефон слушать! — звал Степка. — А мать? — спросил Колька. Отца у Степки не было: погиб на фронте. — Она на работе. Вишь, замок на двери... — Мне в школу, — мялся Колька, хотя уже давно решил в школу не идти в честь такого дня.

— Поспеешь. Опоздаешь — не беда... Я кажен день или убегу, или опоздаю, и ничего. Мать выменяла на картошку пластинку с частушками.

Колька, как был в валенках, сиганул в окно. Пробежав через улицу, исполованную колесными тракторами, прыгая через колеи, налитые водой у дома Степана, подбежал к двери. Замок не заперлся на ключ, а накидывался. Сначала мальчики завели: “Эх, дороги”, — потом частушки. Окно растворили, и понеслось вширь и вдаль в сыром воздухе:

*Мне бы Сталина увидеть,  
Мне бы с ним поговорить,  
Рассказать бы, как в колхозе  
Стало весело нам жить!*

Напротив окон, у плетня, собрались дряхлые старики, гнутые, в худых передниках старухи с батожками, мальчишки и девчонки... Эх, и нищета же кругом! Избы покосились, соломенные крыши поросли мхом и лебедой. Шел голодный сорок седьмой год. Картошку доедали, налоги выколачивали с прокурором из райцентра. Но это не мешало Кольке и Степке веселиться. Единственный на всю деревню патефон слушали, облегли косой плетень. Баян заливался, пела Русланова. Наконец плетень не выдержал натиска ребятишек, повалился с хрустом. Степка заорал на ребят, выскочил поднимать прясло. На него накинудась мать с палкой — пришла на обед. Колька едва успел вырваться из избы и помчался огородами на выгон — там всегда собирались толпой, с собаками, стравливали кобелей, устраивали игрища и забавы. Под раскидистым, треснувшим от старости во всю длину ствола вязом валялись сумки с книжками, разбитые вдреизг сапоги, лапти. Колька стащил валенки и кинулся за мячом. И хотя было еще сыро, а в лужах и провалах сточала холодная вода, все мальчишки и девчонки бегали босиком.

Весь этот день простоял теплым, солнечным. Только к вечеру поплыли низкие тучи, задымили солнце. В сумерках пошел дождь, мелкий и холодный, как осенью. Мать готовила ужин и все нетерпеливо поглядывала на окно, говоря: “Коля, выдь-ка на улицу, глянь, не идет ли?”

Отец пришел часу в одиннадцатом. Воняла семилнейная лампа, освещающая его жалкую, не по годам сторбленную фигурку. Он тяжело опустился на приступку печи, оперся локтями о колени. С грязных лаптей потекли ручейки. Колька кинулся разувать отца, снимал с него лапти, бахилки, телогрейку... Подбежала мать со шкаликом-мерзавчиком самогона, противно вонявшим гнилой картошкой. Когда сели ужинать, мать стала спрашивать, зорко поглядывая на отца:

— Ну, чего оне там, чего спрашивали-то?

— Да все то же... Где воевал, номер части, кто был командиром, кто политруком...

— Господи, аки шпиена! Сколько же можно, одно и то же? — взмолилась мать. — И держали целый день?

— Целый день, с перерывами. Записывали, проверяли, сверяли, что в прошлый раз говорил. Под конец: “На, распишись”. Лейтенант молоденький, как наш старшенький. “А я не письменный”, — говорю. “Вояки, мать-перемать. Моя бы воля — всех к стенке! Вон отсюда...” Я крестик поставил — и ноги в руки...

Они хлебали щи, пили молоко. Неожиданно пришел почтальон, однорукий инвалид дядя Сергей. Прижимая кулечей письмо, он подал его отцу и ждал, подняв брови. Издали Колька увидел, что письмо — его.

— С почты вернули! — засмеялся дядя Сергей. — Хорошо, что до города не дошло. Там посоветовали поучить малого по-русски, попотчевать бере-

зовой кашей, а нет — ремешком. Шутка ли дело! Пятьдесят восьмой пахнет...

— Что такое? — Отец никак не мог взять в толк, перепугался.

— Тут малый твой письмо Сталину написал. Просится в Суворовское училище. Оно бы, конечно, и ничего. Крамолы-то нету. Но опять же могут придаться: мол, отец научил. Таскать начнут...

Почтальон читал Колькино письмо, а тот слушал, не понимал: чего так перепугался отец?

Только мать смеялась до слёз, хвалила:

— Молодец! Ишь, какой письменный, далеко пойдёт!

Отец уже держал в руке ремень наизготовку, вдруг замахнулся на мальчика широко. Мать птицей влетела между ними.

— Не тронь! — заорала она дурным голосом. — Он письменный, далеко пойдёт!

— Никуда он не пойдёт! — задыхаясь, говорил отец. — Энкеведе оставит. Тебя кто научил писать туда, негодник?

— Са-ам придумал... — заливаясь горячими слезами, отвечал Колька. — Са-ам! — Растирал и сверлил кулаками глаза.

— И ведь куда написал-то! — гордилась мать. — Не кое-как, а в Кремль, Самому-Самому!

А Кольке были непонятны весь этот шум, радость матери и гнев отца...

Колька плакал.